

Тиресиевы роды

Небо было жёлтым, и в этой тянущей, сопящей гнилыми мухами чёрных облачных нарывов охре светлели ослепляющей, сопящей изумрудными бликами розоватых пятен пустотой улицы. Я проснулся, однако просыпание моё не означило дел: общем, внешняя беззаботность местами и соответствовала внутреннему, вызванному скорее моей неюродивой тупизной спокойствию.

Нищета жрёт человека, и жрёт без обыкновенно употребляемого условия идеального: отне смердящей глупости влечения тупого человека к тупости античной оказывается, что бедный человек может только тратить; порой мне казалось, что только в блаженстве бедности человек способен молиться и радоваться, и после я пришёл к следующему выводу: цена за то есть совершенное умерщвление окружной телесности, которой бедный человек никогда не имел; он есть стремящийся в лучшем случае к удержанию, и этот лучший случай очень редко оказывается во наблюдаемой действительности: обыкновенно планы, мечты и замыслы легко топчутся гадостью извне или человека единственного. Денег у меня мало, и больше работать я не стремлюсь: в условиях, о которых меня ещё относительной расслабленностью сковало государство, можно одно быть стянутым несобственной слабостью или подверженным риску совершенно иного толка: я же труслив, одинок и туп: я туп, и тупость эта меня удовлетворяет не пошлостью человеческой мудрости, но вполне страстным комфортом пренесения ужаса человеческой воли, всегда представляющей совершенную мразь, на другого человека: того, кто готов благонаравно назначить себя отвратительным; чаще такие люди руководимы скорее тем, что даже это отвращение будет не довольно полным: они то знают: эти люди знают, что они куда хуже.

Всё тяжело воняло, кисло стучало и крючковато хлюпало: в доме моём нет чистого места, равно как и доброго; со временем доброта начала казаться несколько глупой, а теперь: теперь и вовсе ничего нет: даже... даже ничего хорошего: только отдалённый, дребезжащий своим светом миф, никогда не должный дойти до меня, а раз и дойдёт: если дойдёт до меня этот миф, я буду уже совершенно другим человеком: я стану не просто одним из наших, но другим, избранным, действительно живущим, ибо содеяние же...

Соседи постоянно чем-то били: били об пол, стены и, кажется, даже потолок: редко я слышал тишину, и тому я был даже рад; тишина пугала меня: в тишине я видел размазанные темнотою больные лица: лица, плывущие в сторону и шипящие соком своей боли: эти лица пугали меня, и от них я чаще укутывался в грубое собственной вношнестью одеяло, едва исполняющее должные задачи свои.

Я жил с человеком, и человек этот стал дубеть холодом овсеместных в нашей квартире плёнок часто поддранных, отдающих запахом песка о довольно предсказуемой стёртой бежеватости сломанных человеческими животами лучей обоев.

Человек чем-то стёр всегда тонущий о моём безделье шум, и тогда я открыл к нему прежде ослышные обонянием глаза: худые, прокажённые серой болезнью лица указывали ниже: дома он носил вымоченную клыками ветра рубашку, недостаточную выбрасыванию и употреблению во положении более формальном, и обглоданные решением сделать после обнаружения рванья на штанине шорты штаны. В местах, где у приличных людей обыкновенно карманы, и чуть ниже подмышек человек имел странные мясистые, оперво даже напомнившие виды вчерашних чумных бубнов опухоли. Человек был испуган и, видимо, даже непроизвольною остыженностью зеленоватых шей хотел показать своё недовольство ситуацией или, что было понято мною чуть позже, событием. Прокряхтев междометными, думается, куда более косноязычными, чем он представлял есть перед этим, неловкою непринятостью тоей необходимостью репетируя в отложении зоба блеснувшей возможностью того ложки, стонами, он имел в виду, что сам не имеет отношения к появлению этих опухлостей: я незаинтересованною спуганностью дела обратился к нему со условленной давнишими недействительными формами поддержкой, и тогда человек, видимо, подтверждённой недолжностью обращения ко мне пошёл назад. С тех пор я его никогда не видел.

До обеда я пробыл в комнате, и нельзя сказать, будто действия мои слышались особенными страстностью или праздностью: ясно только, что из часов этих ничего не вышло: даже кажимое в том удовольствие и не помыслило коснуться меня.

Обед коричневел, и крыши потолка начинали блестеть подрывающейся мотылями складок дымкой. Я вышел на кухню, где смозжённые синим сиянием фасады отделялись ото петляющей в носу моём пыли.

В ванной комнате, уместившей и туалет, я посмотрел в угол: раньше я не смотрел туда; угол бледнел паутиной рвущей лицами тени, и там я провёл пальцем, и прежде не выделяющимся особливою чистотой. Под отросший серостью длинных сколов ноготь забила чешуйница, и едва достойные внешнего внимательного особления внутренности её остались у роста еле видно орасневшей гулом света с неуместно овенной собой о том люстры пластины. Зная, что действие это не сотрёт с меня ставшуюся недеянием грязь, я размазал палец во оголённой шнурами чёрных плетей волос ноге, и с тем я замер. Квартира глухо щебетала моей пустотой, и жёлтые наросты возглавляли опавшие невысокими матовыми столбами лица о.

Я вышел из дома: пена парадной смывалась обурдовевшим молчанием заткнувшегося дымами сломленного ясностью света запаха: я шагал глухими безмолвными ударами впавших ниже укусами скроенных звучностью вони шил камней. Вонь сламывалась аммиачными слоями, и края правильно выстланных убожеством вверения стен плюхали пошатывающееся грубостью опаляющегося орнаментами окон скрежета хрипоты тело моё вниз: я падал, и вместе со мной падали зеленеющие болотностью открывающихся клыками улиц скважин небеса.

Когда я вышел с дома, оперво дурманные даже обманами запахи свежескроенных плетью ошарпанных гридеперливыми порезами улицы косилок травы вдарили в мой нос, совершенно немощный пред столь сильной разницей. Я прошёл чуть далее, и запах перестал впитываться уже привыкшими губками моего обоняния, и всё снова очернело краснотою склоченных спесью грунта камней.

Тупизна моя описывала края о красные облака свежих срезов плотий-де, и... Пока я шёл: шёл я, кажется, довольно долго, ибо за время это ноги мои сточились упрямою густою болью, и расходящиеся сухими перьями губы стали остукиваться дубовыми горячими хлопками: я шёл, и сальфериновость травы стенала твёрдость асфальта: асфальта, обожжённого беспмятными шагами упавших кариозною рудою людей.

Опередо мной возник малоподвижный сутроб шафрановой, редко всё же одёргивающейся срядами кажимой боли калечности: я шёл: я шёл, и в планах моих отсутствовал разговор с этим человеком, однако ставшая мрачной белёсостью фигура оплонулась ко мне, и я увидел человека: выглядел он потрёпанно и довольно глупо, хотя и учитывал себя, думается, человеком исключительным. Кислотные ставени будто бултыхающихся пузырями гор позади человека пошатывались гораздо лучше, чем человек этот обращался ко мне. Руки его пестрели вопьянностью недержания, и даже могло оказаться, будто человек этот есть совершенно значительный во том нерасторжимом падении взгляда моего: что-то выдавало в нём тупизну ещё большую, чем во мне: тупизну не к слову, но к настоящему: к сущности: общем, этот человек не угадал ни в чём, о чём ему приходилось размышлять: человек этот вёл за собою людей. Он вёл людей гораздо более эрудированных, чем я, и их болезнью он счёл за право оседлать и тех, коих сам посчитал за людей значительно хуже: его удивляло, что я посчитал его дураком: не дураком даже, а обыкновенным пустословом: праздным человеком: человеком, едва достаточным и пьянства, ибо страсти его о всём лишь копились; он не стал слушать меня: не стал, ибо ему было страшно: он испугался: как же это? чтобы дурак... чтобы человек... ну, чтобы здоровый дурак был умнее больного умника... я ушёл именно в тот момент, когда он хотел, кажется, сказать

нечто сокрушительное: то, что аффектом своим разнесёт значение моё о глазах прислуги его самым крайним образом, то... я ушёл, и именно тогда я понял, что нечто всё же имею, что...

Я долго шёл: кажется, я позабыл уже обо всём, кроме ходьбы, и тревожные тени преследующих меня лиц оборачивались камнями и слизнями, и тогда синие листья залепили глаза мои: я чуть споткнулся: в месте этом... здесь были дом, статуя и небо, и последним сбежал тот человек. Он возник неожиданно, и самым неожиданным было даже; человек, прежде горделивым предрассудком ведший других, добежал до меня и сказал о море. Он сказал, что в море множество существ, о которых мы не знаем: что там, в отличие от другого, о чём я умолчал, ещё много неизвестного: там... именно там он сказал мне поискать.

Смоченные его потом одежды смердели, и я поверил в этот смрад: видя в моих глазах веру, он улыбнулся и побежал назад. Я также улыбнулся и пошёл дальше. Шипящий плен моих ран твердел, как твердели и нарощенные ходьбой язвы.

Кухня моя до сих пор светилась еле возможным синеватым светом, и прохуdivшиеся стены озябшего громом жара изнутри хлада спарялись воспалениями: воспаления оставались всё такими же.

Подле меня проходили большое количество людей, нисколько мною не отделяемых от иной беззвучной, мелко топающей серостью испаряющейся синевой мглы щепки пустоты: я не смотрел на них, хотя, вероятно, уже частично измучившее меня постоянство могло быть сломлено несвечностью потенциальных разговоров или хоть редко достойных тому взглядов на этих людей. Я шёл, и запах прекращался, как близились ко завершению мои силы: ноги прели заторможенной неприятной слабостью, достаточной даже тому, чтобы зубы мои сжались немощною овластностью и сточили друг друга во несвейной серебристости пепла, которым со временем покрылась вся улица. Улица рябела скукой, и преждеакадемические мои взгляды упали к зычно плюхнувшейся крайней уместностью набережной: я не знал о ней, как не знал и о многом из увиденного; нельзя сказать, что я прежде выходил на столь основательную одиночную прогулку: бывали положения, когда время тянулось одно из необходимости пробиться подобною длительностью: когда собеседник твой вынуждал о основаниях прогулок сделать хоть несколько опорных пунктов в вашем времяпровождении, и пункты эти также уславливались необходимым межчастным интервалом, который одно и властвовал во определении продолжительности гуляния. Моё же гуляние, каже, было продуктивнее и тяжелее иного другого, учитывая тем и присутствие прочих участников. Если задуматься, день сегодня чрезвычайно выдающийся.

Осевшие ржавчиной железы надо устроенным мягкой сглаженной глыбой камнем держали расслабившиеся уже окончательно инертною мельтешаемостью надо водой руки, поглаживающие упирающийся отталкиванием отне даже необыкновенно скорых волн ветер.

День сегодня необычен: отчего он так полагался на меня? и если те бубны были натуральным, едва я способен и на поддержку: человек я тупой, довольно тупой на эмоцию: на настроение даже. А... а человек этот, ну, второй: вот он вообще: он совершенно ко мне отношения не имел, и всё же! всё же про море сказал: вот я и сейчас: не у моря, конечно, да во набережной: у набережной стою, пока он, кажется, не у набережной. Вот... вот сколько прошёл я: долго довольно шёл, и небо всё менялось: иногда казалось даже, будто лестницей радужной овсё оно окрывается: окрывается, и жемчужинами перламутров обивается: всё обивается, и е ото синеватое мрачное свечение не есть странное и недолжное: довольно обычное, привычное вполне даже. Трава краснеет голубоватыми прыщиками часто сбивающихся оконченностью сваривающихся пузырями взрывов новин явочек, и я, посчитав, будто то надвнутренное неперечисление есть полноценное овторение смыслов сегодняшнего, усмотрел в баящихся морщинами восстающих стен волнах.

Футболка моя чуть шоркнула об уколовшиеся светом стемневшихся иссиня-чёрными звёздами блесков камни, и отянувшаяся полнотами вздымленных соломоновостями решений вен шея оправила к чёрной, обравшей меня простотами слабостей глубине воды: в скалывающейся белениями волн черноте я увидел смазавшееся неприятностью мною того лицо, и произвольною привычкою я смёл взгляд свой ото того, тут же свернув снявшие разницу не столь меж должным и недолжным, сколь меж видимыми мною лицами и тем, что теперь возникло во глухой насыщенности скатывающихся зудами небес узоров, глаза обратно: лицо это не схоже с лицами, обыкновенно мною разглядываемыми во вопящей свёрнутыми культами темноте: лицо это...

Цокнувшие о хлад долгого ровного камня твёрдые обуви лоснились по волям неуправных обонянием моим влас: ко мне подошли люди, однако не сразу я понял их обращённость ко мне, почему и осудил тех подобными во невлении серости своей всем прочним прохожим. Звонкий слой сперва совершенно неразборчивого писка оказал себя во словах, видимо, понимаемых мною: я знал слова эти, и потому не мог их не слышать: рокотливый скрип слов не отвлекал мой глаз от продлевающегося колючками редко ошевеливающихся полнотами сна воды зубцов лица: оно смотрело в меня: лицо в воде смотрело на меня, и только со теми звонами сливающихся о отдалённо напоминающий рыбий силуэт краснот облик морды продолжался толстым конусообразным хвостом. Ко мне обращались два человека: каже, довольно взрослая, уже снутая плёнками частых щелей подо счерневшими широкими звёздообразными кругами глазами женщина, одетая во оветшалые решётки нетёплой пастельной, будто соединяющейся оковами сложенной через плечо небольшой сумки ткани, цепляющейся за острые кольца напряжённых рогов отрагивающих открытое русой краткостриженностью лицо пальцев, и невысокий, выглядящий измученным

несменной вяжущей, вырождаемой вовне косноязычной непрямотой болью мальчик с падающей на колени скомканным тряпьем о сходящем с тлеющей огнями о втемневших пыльными грязно-жёлтыми пятнами пальцев сигареты дыму курткой. Рты их были сухи и чуть содраны золотистостью прилипшей, едва блещущей во разливах света лимфы. Рты произносили вещи, чаще не принадлежащие моему адресату, и оттого я более именно видел их лица: лица, каже, пытающиеся обмануть: они говорили, что мальчик есть беспризорник: есть одно случайный, потерянный улицей ребёнок, хотя что-то выдавало в словах этих лукавство: видимо, то есть мать и сын.

Они говорили скорее для себя, и всё мощнее оделялась необходимость сцепить умы их и мои с чем-то внешним: когда кончилось внутреннее, являющееся о деле совершенно несодержательным, было необходимо нечто найти; сверкающие жизнеобязненною дрожью глаза их прицепились к торчащему из воды кистой лицу, и тогда они начали говорить: удивительным было, что прежде скорее неприятные речи пременились и избыточным о мне интересом, и сперва я ещё пытался противляться тому, о конце всё же согласившись и настав внимательному слушанию: клетка слов их огранила действительно стоящее: оказалось, это Дракон, каковым его прозвали местные жители ещё с четыре года назад, когда он был замечен здесь впервые: с того момента он иногда утаскивает собак, и с ним отчего-то ничего не делают; очевидно, рыба эта опасна, недолжна и исключительна размерами своими, достигающими о длине роста невысокого взрослого человека, однако каждый раз, когда иное сборище направленных воинственною апломбичностью уверенности мужчин оказывается образовано неотем образом, и разъедающимся ветром песком замыслы стекают к бездействию и несодейственному смирению: так было уже шесть раз: некто верит даже, будто рыба проклята, и подсказывает то внешность её: рыба продолжала смотреть на меня: она упиралась чёрной, совершенно небольшой на фоне обелевшего, только кончающегося ониксовым гребнем хвоста тела мордой в меня, и остывшие розовыми сосудами глаза её не дергались во внимательном узоре моих накоров: рыбу назвали в честь того именно из сходности со башней, скошенной конусовидными укусами пыляющихся уколами игл кисточек, и неуместно помещённые подле жестоко выпученных наливными прыщами глаз жабры её окрывали жирные длинные щёки сглаженной блестящей, сбитой рубцами костью рожи; рыба была страшной, и её боялись: рыба смотрела на меня, и скоро мать плюнула в рыбу, отчего та хлестнула отражённое зеркальностью водной площади небо толстым мощным, свистнувшим картонною спесью пения хвостом; так обыкновенно Дракона отпугивают, чтобы он не вперял мрачным голодным взглядом ко обглоданным бедностью проходим. Эти люди засмеялись и начали отходить от меня, видимо, уже позабыв обо мне и прежней адресованности их слов ко мне: их пожрал голодный жёлтый закат, и больше я их никогда не видел, как не видел более и рыбу.

Когда рыба уплыла, мне стало спокойнее: я крепче опёрся о омывшие зеленою бликов речных цветений ставни и хотел уже отходить, как плеча моего коснулся человек, уже достаточное число часов назад осоветовавший пойти к морю: улыбка его была мрачнее той, которой он обольщал людей: он был готов на что-то: он был готов на нечто решительное, однако я не чувствовал это и не знал: о том я мог только предположить, хотя, верно, был прав: он улыбнулся, и сменившаяся более тёплой одежда скатывалась тяжестью держащего нас перед тянущей водой железа: глаза его, каже, чернели, и солнце, на которое я посмотрел скорее попыткой сменить общую неловкость, тут же обрело короны опотевших тенями скоричневевшего краснотами мяса тона лиц его; человек указал пальцем: пальцем, отставшимся во колоннах ломляющегося цветами устаянных целлюлозною надпышностью лепестков ветра, он обратил к дереву, торчащему исключительными индивидуальностями во вросшем в реку нисходящими нитями озрённого сквозною стрелою дупла островке. Человек показал дерево и ушёл; я перестал его видеть: я перестал его знать.

Сложенные кругами коры камни остеляли здание, и во здании обмоченная огнями сил кровать ставила одле себя связки воли: я смотрел вперёд, и скоро до главы моей дошли мысли о необходимости завершения прогулки: сегодня я потерял более, чем обрёл; вероятно, я ничего не обрёл, хотя и присутствовал вблизтобретения; я долго шёл, и обращение назад должно или со задействованием прочних сил транспорта, или в том же значительном продлении: я не думаю, что сил во мне много, однако денег я имею ещё менее.

Я почесал оросший хрустящей серой щетиной подбородок и огладил сломанные бледной усталостью веки: едва упавшая со случайно окрывшейся губы слюна коснулась ссушенного плетью смозжённых свесом пальца, и слегка влипший продолженностью рта моего палец я вытер о набухший движениями ввершенно во существе своём несущественных непрехождений живот.

Язвы слёз моих сдавливают горло, и горло моё рвётся: рвётся в конечном, содранном палью упавшего ко размозжённой костью скрипучего стона голове горя вопле: я бьюсь лбом об пол, и пол прогибается: я тру ударами стены, и глаза мои краснеют всё сальнее: глаза мои готовы лопнуть, да всё держится: всё нависает во мне, и стонущее рыдание режет меня изнутри, как резали бы ножи свободы; мне больно: мне плохо... мне: мне очень плохо: я не могу уже: я больше не могу: я не справлюсь: я не смогу с этим справиться; вокруг одно пустота: не темнота даже: пустота: всё... всё изъелось во мне; пуст я: ничего больше... ничего, кроме боли во мне нет, и даже боль эта: даже боль эта более не дрожит плетью плён кож моих, ибо лицо мое окаменело холодными чёрными дырами, и безвласою болью я тону во гудении человеческой гадости, и... не справился: не смог: не сумел, и, о целом, ничего в том выдающегося нет; если бы я справился с этим, никто б и не восхитился, однако... однако так

плохо: так... ничего больше нет: ничего нет; только я: только я и дрожащие жемчужные иглы моих отломанных одиночеств: только шипящие пузыри последней из бульона пухающегося пузырями кислых хлопков мяса кожи; ничего нет: ничего нет, ибо есть только охладевшее белой маской лицо моё, и мга моих дыр просвистывает о себе пестротные гамы чужих удач: я... меня нет: я кончился.

На следующий день Борис начал своё дело: дело казалось перспективным и стоящим, и деньги, что он получил, как ему казалось, ясным чудом, были употреблены вполне верно; через три месяца, когда дело должно было начать давать чуть менее прибыли и более прочной опоры постоянного спокойствия, всё начало сходить: прежде прибывавший в совершенной радостной дрожи начал мрачнеть, и скоро, дабы избежать рисков впасть в ещё большие долги, Борис сам свернул так неожиданно образованное предприятие. Глаза Бориса почернели.